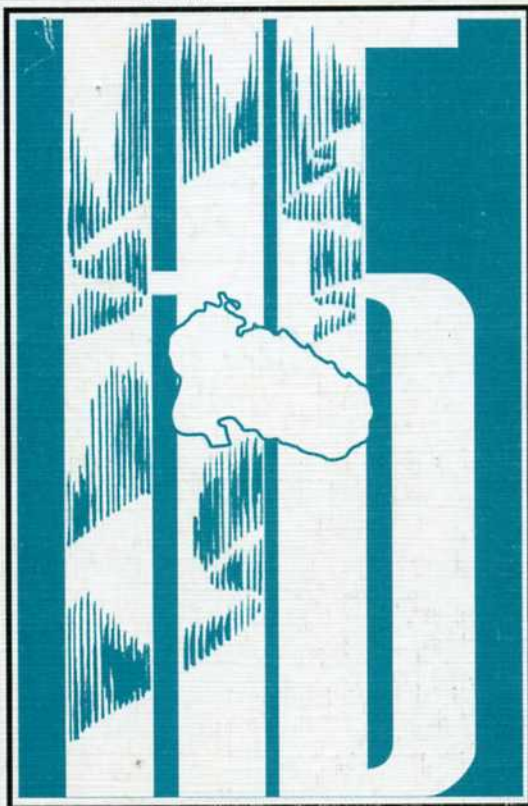


2 2005
АПРЕЛЬ

ISSN 1684-7466

НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



СЕРИЯ
ДУХОВНАЯ
ПРАКТИКА

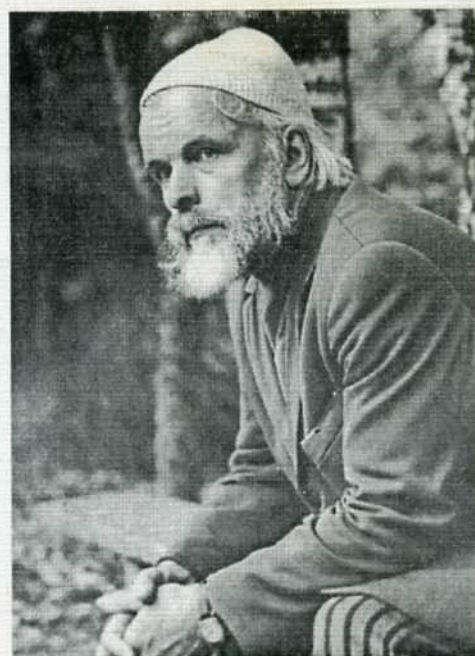
Украcный
мир
Дмитрия
Балашова

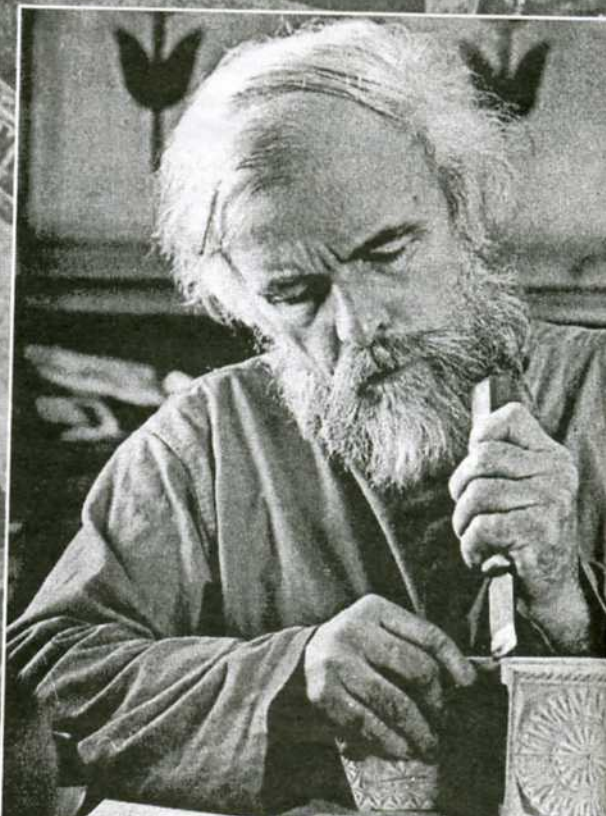
НАУКА

И

БИЗНЕС

НА МУРМАНЕ





- ◁ Верхнее фото на стр. 24
Д. М. Балашов около дома в Чеболакше
- ◁ Рисунок Д. М. Балашова
- ◁ Заготовка дров
- ◁ Д. М. Балашов на вечере, посвященном С. Есенину
- ◁ На сенокосе
- ◁ Большое фото
Феофан Грек. Пантократор
- ◁ Нижнее фото на стр. 24
Искусный резчик



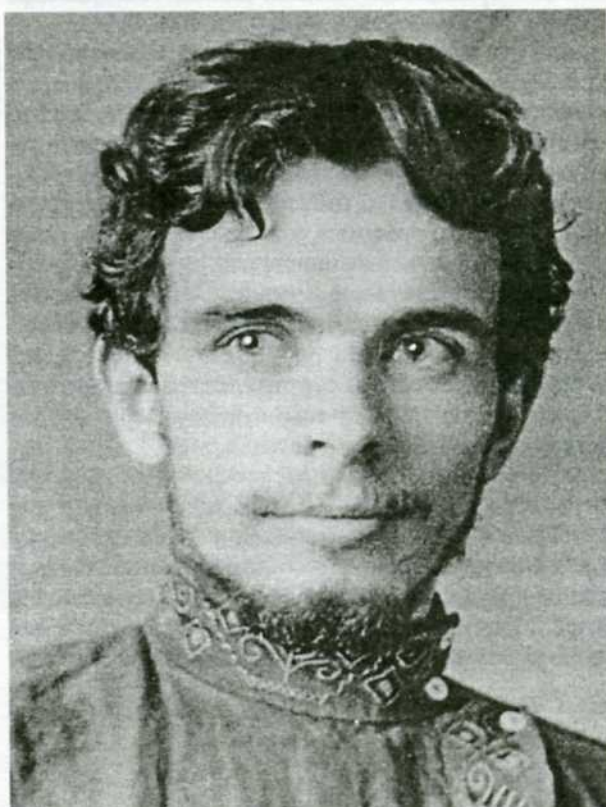
УКРАСНЫЙ МИР БАЛАШОВА

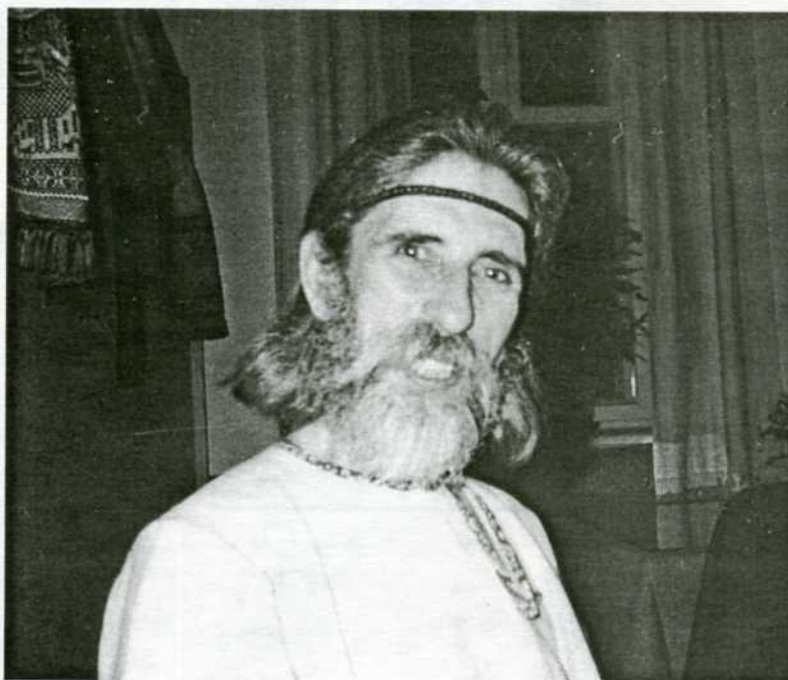
В. Поветкин

Дмитрий свет Михайлович! Вы приходили в этот мир. Зачем? Обращая такой вопрос к Дмитрию Михайловичу Балашову, знаем: он на него ответил. Ответил горением всей своей жизни. На самом же деле, мы вопрошаем себя: как понимали Балашова, что знали, а что только слышали о нем, о его поступках и устремлениях; как понимаем сейчас и что из его наследия может служить образцом; наконец, во имя чего мы собрались и намерены собираться на Всероссийских Балашовских чтениях?

Память о Балашове свежа, она не лишена противоречий, особенно, если снизойти к обыденной суете. И, понятно, должно пройти надлежащее время, когда, вчитываясь, вглядываясь в наследие Дмитрия Михайловича, мы вдруг словно заново услышим страстный его ответ — ответ как призыв: «История — это, прежде всего, строительство жизни...»

Да! Балашов не всем угодил. Да! Он не безгрешен. Да! Не во всем ему хочется подражать. Однако вспомним и о том, что все это приложимо к каж-





Директор Центра культуры «Музыкальные древности» В. И. Поветкин

дому, кого великая всечеловеческая память выдвигает на лобное место почитания.

Убежден, что исследователи берут на себя подчас непоправимый грех, когда для широкого круга читателей смакуют некоторые факты из личной жизни, скажем, А. С. Пушкина или Ф. М. Достоевского. Читатель от подробностей такого рода не возвышается ни моралью своей, ни знанием, ни мудростью. Необходимо помнить, что опрокинутым у кого-то на кухне мусорным ведром, размноженным средствами печати, радио, телевидения, можно загрязнить весь мир.

Как у многоодаренных личностей, в распоряжении Балашова имелась широчайшая клавиатура ощущений, переживаний, познаний и, следовательно, соблазнов: с какими-то он был бессилён справиться, и потому искал им оправдание, а каких-то искренне не замечал и беспрепятственно устремлялся к тем свершениям, которые были по силам только ему и которые нынче как раз и являют собой первопричину Балашовских чтений. Итак, вот он, смысл чтений: постичь идеалы Балашова, ибо идеалы его чисты.

Да, история — это строительство жизни, а не серия мятежей. Так просто и ясно высказывался Дмитрий Михайлович в беседе с одним журналистом. И рассуждение его касалось только русской исторической литературы. Все так. Но вот еще что несомненно: строительство жизни — это и нормальное понятие Балашова о собственном предназначении в чудесном и одновременно беспокойном мире... Именно с таким ключевым понятием у Балашова оказались нераздельны и многократно уси-

лены все его природные и приобретенные способности.

Балашов прославился как историк-романист. Многие его помнят как молниеносно отзывчивого публициста. В меньшей мере о нем знают как об исследователе народной культуры. Еще меньшее число людей догадывается о нем как о специалисте, знающем толк в стихосложении. Мало кто придавал серьезное значение его увлечению традиционными деревообрабатывающими ремеслами. И уж почти никто не готов увидеть в Балашове незаурядного художника.

А между тем все, чем бы он ни занимался, было в равной мере серьезно. Одно служило дополнением другому. Поэтому все, что здесь кратко и обобщенно перечислено, не должно разрушать цельного облика выдающейся личности. Он неповторимый писатель — потому что он блестящий оратор. Он настоящий историк — потому что он дотошный исследователь крестьянского быта и всего поэтического красноречия русского народа. Он поэт — потому что работал цветом как живописец и оживлял глину руками ваятеля. Он был художник — потому что всегда оставался очарован красотой женщины, красотой непоруганной природы. Он сын своей Родины — потому что он ее надежный духовный воевода. Он настоящий воин — потому что созидал мир.

Судьба повела Д. М. Балашова по необычному жизненному пути. Прочитавший всю мировую классику, благовоспитанный ленинградский интеллигент, — кстати, дед его за меценатство был удостоен титула почетного дворянина, — вдруг

оказался в условиях физически и культурно искореняемой северной русской деревни. Он увидел обломки обрядовой свадебной, похоронной, календарной традиции. Он записывает песни, сказки, присловья. Записывает последних русских сказителей. Спешит запомнить и уразуметь все, что составляло понятие сельской цивилизации, той цивилизации, которая пришла из глубин тысячелетий и которая верой и правдой служила основой русской государственности, национальному самодостоинству и несла с собой самую близкую к природе красоту. И нормы человеческих отношений, и праздники, и одевания, и ремесла — все здесь преисполнено здравого смысла и изысканнейшей красоты. Здесь жил и отчасти еще живет народ, о котором чванливые горожане поныне толкуют, как о народе музыкально безграмотном. Но ведь и селяне со своей стороны о горожанах, воспитанных на образцах западноевропейской концертной ученой музыки, могли бы сказать как о крайне невежественных в области, например, классических народных песенных традиций. Но селяне из-за их извечной трудовой занятости, ибо они — кормильцы страны, а также из присущей им скромности молчат. Хотя кто-то же должен защитить истину! Как?

За истину можно вступить лишь через познание обычаев, нравов и вообще истории родного народа, через распутывание иной раз почти мертвых летописных узлов, через рассечение идеологических теней двадцатого столетия.

И Балашов уже в начале лукавых шестидесятых годов спасает от запланированного властями разрушения более ста храмов. «Я составил, — как позже он вспоминал, — письменное воззвание в защиту исторических памятников Карелии, под которым собрал подписи академиков, историков и писателей и которое затем передал в Центральный Комитет партии. Я знал, что кладу свою голову на плаху, знал, что руководители Карелии со мной расправятся, но верил, что мои действия вызовут большой шум, который спасет уникальные культурные ценности». Таким вот образом Балашов закладывал фундамент Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. И не его провинность, что Общество вскоре обюрократилось.

В те годы было бессмысленно мечтать, например, о том, чтобы Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» опубликовала голоса русских сказителей, пусть и последних. Но она это сделала, так как собиратель Д.М. Балашов, пробивая стену обывательского приспособленчества, смиренчества и чиновничьей трусливости, убедил в необходимости такой публикации ни много, ни мало как министра культуры СССР Екатерину Алексеевну Фурцеву. На крупноформатных дисках, составляющих гордость золотой фонотеки России, записаны такие старины (былины), как «Дюк Степанович»,

«Илья Муромец и Сокольник», «Три поездки Ильи Муромца», «Добрыня и Алеша». Их сказывают нараспев Леонтий и Анна Чупровы, Еремей Чупров, Гаврила Вокуев и Василий Лагеев. Имена сказителей можно прочесть на дисках. Отсутствует лишь имя собирателя, но мы его знаем и будем благодарно помнить.

Издание трудов по народной культуре, в которых принимал участие ученый и гражданин Дмитрий Михайлович Балашов, как правило, было делом хлопотным. Вспоминаю его рассказы о несравненной книге «Русская свадьба». Ее крайне заволокиченная публикация состоялась, наконец, в 1985 году. Выход книги с оплатой в пятнадцать тысяч тогдашних рублей обеспечил сам Балашов. Однако издатели и тут, как говорится, нашлись: они направили основную тираж не в крупные магазины страны: зачем-де? В городах свадьбы и так славно играют под Мендельсона! А завалили книгой, например, склады в вологодских окраинах. Местным жителям, конечно, приятно прочесть о себе, но книжную гору им не выкупить.

В 1973 году Балашов по-настоящему берется за плотницкий топор. За Онежским озером в деревне Чеболакше при поддержке мастеровитых людей из семьи Михалкиных он рубит, украшая резным узорочьем, двухэтажный дом с подворьем, затем баню. Ведет хозяйство, обихаживает скотину — лошадь, бык, две телки, овцы, собака, кошка — всего, как он шутил, четырнадцать хвостов. От Матушки земли получает урожай. Содержит семью — сам землей, наряду с трудами по народной культуре, создает повесть «Господин Великий Новгород», роман «Марфа-посадница», а затем плодотворно, хотя и всего-то в свободное от хозяйствования время, работает над знаменитой серией исторических романов «Государи Московские». Как однако же точно в беседе с писателем Владимиром Черкасовым один из жителей тех мест о Балашове отзывался: «Да, он свою жизнь хочет устроить по-историческому!»

В точности так же, по-историческому, с 1984 года он обустроивал и свой новгородский быт. В Козыневе, что неподалеку от Великого Новгорода, в краю, где обитало древнее племя словен, он возводит новый дом. Этот дом с кружевными оконными наличниками и балконом, подпираемым мощными резными колоннами, высоким своим челом смотрит на стихию слияния священного Ильмень-озера с небесами. И, пожалуй, не отыскать нынче среди новодельных жилых строений ни одного, которое столь же перекликалось с местными, исторически давно сложившимися принципами зодчества. И хотя еще слишком многое в доме дождалось грубоватых прикосновений топора, рубанка, долота или фигурного резца, именно отсюда все необъятное мироустройство виделось как на ладони. Именно здесь за прочитанными строками Пер-

вой Новгородской летописи так зримо восставало минувшее. Почему-то именно в этом обиталище со вскопанным тут же клочком земли, с запахами сена и парного молока почти въяве слышались и свист смертельно жалящей стрелы, и стоны, и моления, и победные кличи на полях древних сражений. Но и из этого же вроде бы и невеликого удаления от городской суеты острее, мучительнее переживались нынешние беды России, славянского мира и человечества вообще.

Неповторим Балашов — художник. В таком лице его почти никто при жизни не знал или совершенно не обращал серьезного внимания. Вдруг открылся Балашов как очень интересный ученик своего учителя Константина Александровича Кордобовского. И одновременно ученик своих родителей. Ученик своей мамы, от которой, как я сейчас глубже стал понимать, он очень много взял полезного и того, чего не дают иные академические учреждения. Поэтому его лицо как художника во многом необычно. Он не просто рисовал какие-то понравившиеся ему сюжеты, скульптуры, а он проникал вглубь, ставя подчас очень сложные перед собой задачи. Стоит посмотреть его рисунки, где он рисовал храм.

О фресках можно сказать, что его учитель Кордобовский был представлен на недавней выставке в музее подлинных фресок, и Балашов, как его ученик, его в чем-то превзошел. Его работы более похожи на то, что мы можем видеть в храмах. Похожи даже каким-то внутренним содержанием и по технике исполнения. Рисовать, не повторяя технику фресок, с натуры, как бы что видишь, рисовать мазками, как тогда выражались. Вот у Балашова мы не найдем таких мазков. Мы увидим созвучное, увиденному нами в храмах.

Он, оказывается, испробовал самые разные техники. Он проявил себя как интересный портретист. Его персонажи очень похожи или очень выразительны.

Иногда кажется, что Балашова по остроте публицистического языка не с кем сравнить. Взять хотя бы только заглавие одной из последних его статей — «Наших бьют». Все сказано. Теперь можно лишь догадываться, сколь обжигающими душу были бы его слова о гибели наших родных моряков вместе с атомным подводным крейсером «Курск», как это непоправимое бедствие вплелось бы в несчастную канву исторических событий, о которых ведать и помнить мог, кажется, только Балашов. О! Как бы он восхитился открытием 13 июля 2000 года в Людине конце в слоях начала XI века восковой Новгородской Псалтыри — этой древнейшей в славянском мире книги! Но узнать о ней не пришлось: в те дни, украшая лик Матери-земли новым узорочным строением, он, видать, уже вступил в роковое сражение с заспанным предателем святых его побуждений.

Нынешние новгородские власти, нет, власти всего Российского государства, упускают редчайшую возможность — создание в доме на углу улиц Никольской и Славной №29/21 музея-квартиры Дмитрия Михайловича Балашова — писателя, историка, исследователя народной культуры, почетного гражданина Великого Новгорода.

Назовите имя ученого или деятеля культуры, смастерившего в своем жилище резные и расписные кровати, столы, скамьи, табуреты, сундуки, настенные шкафчики, многосекционные книжные шкафы, кухонные полки с подвесными разделочными досками, ковши-скобкари, солонки-стучелки, солонки-утицы и многое другое. Кто мог бы таким похвалиться? Балашов мог бы. Но он не выпячивался. Так заметим же мы его. Пусть и запоздало. Признаем его при всех его титулах еще и как зело мудрого художника. Уже в ученических рисунках, живописных и скульптурных работах он необыкновенно глубоко проникал в суть вещей; и уже в них он — историк. Вот почему он изображает не только, скажем, храмы, но и зарисовывает настенные изразцы, орнаменты оконных проемов, копирует наиболее впечатляющие фрески. Не случаен, например, его изучающий взгляд на благовестные колокола Псково-Печерского монастыря: это качающиеся, «очепные» колокола в отличие от неподвижных, «язычных».

Лет пять-шесть тому назад Дмитрий Михайлович получил послание от Надежды Александровны — вдовы его учителя, Константина Александровича Кордобовского, в студии которого в 1930-е предвоенные годы он обучался рисованию. В конверте оказались детские рисунки Балашова. Один рисунок особенный: море с диковинными его обитателями, вокруг моря непроходимые леса, окаймленные хороводом взявшихся за руки человечков, а в небесах парят птицы. Что это? Ответ один: это видение одушевленного Мира словно бы с ковра-самолета. Поражает то, что в точности такой же надмирный взгляд, пусть в других творческих итогах, сохранялся и у семидесятилетнего Балашова. Все в нем едино: и дитяtko, и мудрец.

Этот детский рисунок, сбереженный верным учителем, послужил основой для плаката-приглашения на необыкновенную выставку — «Балашов-художник». В сопровождающем тексте говорится: «Горница наша украшена в память о Димитрии свет Михайловиче Балашове. Пожалуйста к нам. И вы увидите мир его очами. А лета 2001-го, месяца ноября, 8-го дня». Выставка приурочена к Первым Всероссийским Балашовским чтениям. Она не случайно открыта в Новгородском Центре музыкальных древностей, ибо Балашов — один из его самых бескорыстных соиздателей.

Вспоминаю, как посетил он Центр в прошлом году на Кирилла и Мефодия, то есть 24 мая. Более отягощенного печалью и поникшего всем суще-



Рисунки Д. М. Балашова



Рисунок шестилетнего Дюки Гипси (Дмитрия Балашова) на приглашении на выставку «Балашов-художник»

ством я его не видывал. «Давайте купим пива», — произнёс он, и было ясно: хотя бы кто-то должен его выслушать. Он горестно и тихо повествовал об утрате надежд, возлагавшихся на взлелеянного в любви и всепрощении Арсения — последнего из тех сынов, которые были рождены в Чеболакше. Именно он в какой-то отроческий его период казался способным продолжить заветные отчие дела. Так было. И я тому очевидец. Но все минуло, словно осень среди весны гнилой лист бросила. Опустели наши сосуды. Застольничали кратко, потому что даже в таком душевном беспокойствии в нем сработала-таки пружина деятеля жизни. «Спасибо. Мне стало легче», — и он заспешил в недостроенный терем возле Ильменя, где на каждый погожий час и на каждую темень прибавлялось тревог из-за некогда увенчанного превеликими чаяниями наследника. Удаляясь, он то и дело вскидывал голову на бревчатую пристройку к нашему зданию, два ската кровли которой я совсем недавно скрепил охлупнем, или, как еще говорят, коньком. Вот этот-то конек, величаво плывущий по небесным дорогам, и задел в Балашове струны восхищения. «Молодец!» — послышалось от него. И к кому же такая награда больше относилась? Да надо полагать, ко всем летописным «плотницам сушим», и к каждому безымянному древоделу, и ко всякому деревенскому мастеру и прамастеру, которые в бесконечной цепи ремесленной преемственности острым лезвием топора вытесывали вот таких коньков и держали в извечной красоте Новгородскую и всю землю Русскую. Вновь и вновь оглядываясь и слов-

но в чем-то уже примеряясь к своему терему, он прибавил шагу и скрылся за поворотом — для меня уже навсегда.

Балашов был в одних случаях до смешного беспомощным, беззащитным, в других, напротив, невероятно жизнестойким человеком. Вот ведь что произошло, например, в конце 1996 года, когда он, действительно понюхав порошу в Приднестровье, едва выбравшись оттуда, бледный, как перележавшее в сундуке полотно, не на шутку прошептал: «Помираю». В лучах ночника, донельзя осунувшийся, неподвижный, лежал он на своей высокой резной — ну прямо церемониальной! — деревянной кровати, словно на последнем часе. Мы все были повергнуты в паническую растерянность и за благо принимали хотя бы едва слышимые из зарослей его бороды обрывки фраз. Мы вызывали его на какие-либо признаки жизни вопросами типа: «Ну как там? Что там?». Борода невнятно шевелилась. А вместе с тем примечалось и другое: что-то иное не унималось в нем, и почему-то, сам нуждаясь в оздоровительном покое, он нас не гнал в три шеи. Но вдруг: «А вы послушали бы “Очерк о Приднестровье”?» Тут надо вспомнить одну его черту: прежде чем сдать в публикацию новую книгу, он старался услышать о ней мнение первых нескольких слушателей. «А это надолго?» — осторожно спросил я его. «Часа на два» — шевельнулась седина. «Да это же самоу...!» — кто-то пытался ему возразить. Но он уже читал. Читал, распластанный навзничь, держа увесистую пачку листов ровно напротив торчащего из подушки носа, словно это

была и не рукопись вовсе, а лишь временно приподнятый над солением гнет. Прочитанные листы собирались отдельной стопочкой. За развернувшимся повествованием незаметно убегало время. Час прошел, на исходе другой, скоро полночь, и стопочка освобождавшихся от чтения листов все более распухала, превращаясь в кособокую, а потом и вовсе в разъезжающуюся в разные стороны гору. В размеренном выпархивании из рук чтеца этих свободных листов таилось нечто завораживающее и усыпляющее. Потому, вероятно, и не заметил никто, в какой час наш подопечный приобрел иное положение. Он почти наполовину вылез из-под одеяла, подушек стало уже не одна, а две, обе они, придвинутые к спинке кровати, служили опорой под его лопатками, а голова, можно сказать, обрела самостоятельность в поворотах влево и вправо, в кончике носа зарозовело нечто от красного перчика. И если нам далеко не сразу бросились в глаза эти перемены, то уж он-то их совсем не замечал и оставался до конца чтения в представлении о себе как о поверженном приднестровце.

А между тем голос его крепчал и все убедительнее произносились интонации героев повествования, особенно генерала Лебеда, и все чаще от неожиданных властных восклицаний мы просыпались, глупо озираясь и проявляя тайный друг от друга интерес, кажется, лишь к одному: сколько еще там листиков осталось в цепких перстах вышедшего из-под нашего гуманного контроля хвораго писателя? Листиков оставалось... еще целая пачечка. К утру Балашов раскрасневшийся, жестикулирующий в такт читаемым словам, иногда поджимающий под себя для удобства ноги, а то вдруг вскакивающий, словно для отражения удара, весь в испарине от творческого здорового напряжения, дочитывал последний лист рукописи. Мы же, оледеневшие от неподвижного образа нашей слушательской деятельности, будто выглядывающие из сугробов, отчаянно боролись с картинами сновидений и мечтали: вот бы для таких случаев научиться спать с открытыми всепонимающими глазами. Вспоминая этот урок восстания к жизни, восхищаюсь и преклоняюсь перед Балашовым.

Кто-то скажет: а вот он тогда-то был несдержан в выражениях. Да. Бывало. Но не являлись ли его резкие, иногда до крайности, слова ответом на другую несдержанность, ту, которая вежливо попирала истину?

Да, у него не во всем были удачи, не ко всему, как говорится, лежали руки. Никогда, например, я не понимал и не поощрял его настойчивости управлять автомобилем. Нива ниве рознь: на одной «Ниве» он то и дело попадал в кювет. На другой — получал отменный урожай. Однажды он меня подвез. Так всю дорогу пришлось думать: а не спокойнее ли добираться на необъезженном брыкливом коне?

Да много чего можно найти в каждом из нас. Но не лучше ли знать о Балашове, как он в минуты отдохновения во время праздничных застолий мог наизусть минут по сорок кряду, без запинки читать поэмы античных поэтов?

Кто-то осуждал его за ношение одежды традиционного народного покроя и видел в этом факте вызов всему обществу. Но не является ли вызовом всей нашей истории, всему сонму наших предков то, что мы, разучившись шить себе портки, почти все облачили в американские одежды? О традиционной народной рубахе Балашов кому-то ответил: «Может быть, у меня от Родины моей, кроме этой рубахи, ничего больше и не осталось. Никто ее с меня не снимет!» И действительно, не страшнейшее ли это горе, что за многие последние десятилетия на необъятной земле российской в русской рубахе похоронен всего лишь один человек — Дмитрий свет Михайлович Балашов!

Говорят еще, что его исторические романы потому убедительны и годятся к использованию вместо учебников, что он тщательно выискивал для них летописные сведения. Это верно, но лишь отчасти. Главной основой во всем его творчестве, в любых делах стало знание народной культуры.

Известно немало так называемых фольклористов (слово-то какое, как ругательство), людей отнюдь неглупых. Но чем от них отличен Балашов? Да тем, что он исследовал народный исторический быт не ради застольной ни к чему не обязывающей науки, а во имя большого понятия Жизни. Он восхитился, влюбился и врос в свою настоящую Родину.

И если вот этой важнейшей черты в Балашове мы, как прежде бывало, не заметим и не поймем, то не лучше ли будет поставить вопрос: а надо ли превращать в очередную игру Всероссийские дни его памяти?



Дмитрий Балашов
в фильме
"Господин Великий Новгород"

Кадр из кинофильма